

ЛЕВАН
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

СВЯТАЯ МГЛА

ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ
ГУЛАГА

Критика и эссеистика

Леван Бердзенишвили
**Святая мгла (Последние
дни ГУЛАГа)**

«НЛО»

2017

Бердзенишвили Л.

Святая мгла (Последние дни ГУЛАГа) /
Л. Бердзенишвили — «НЛО», 2017 — (Критика и
эссеистика)

ISBN 978-5-4448-0474-2

Левана Бердзенишвили в Грузии знают все. Он один из основателей Республиканской партии, президент неправительственной организации «Республиканский институт», авторитетный филолог-классик, бывший диссидент и заключенный печально знаменитого мордовского Дубравлага ЖК 385/3-5, а теперь – автор этой, мгновенно разошедшейся на его родине книги, принесшей ему славу «грузинского Довлатова». На вопрос журналиста о том, почему он написал воспоминания о годах, проведенных в заключении, Бердзенишвили ответил так: «Я не писатель – я, как свойственно почти всем грузинам, рассказчик... На самом деле это не мемуары о ГУЛАГе, хотя это касается ГУЛАГа и моего ареста за антисоветскую агитацию и пропаганду... Эта книга не обо мне, а о людях, которых я узнал и полюбил на зоне. Некоторые из них могут не узнать себя, потому что это большая правда о них, чем они сами о себе знают или думают». «Святая мгла» – не только о травматичности такого опыта, но и о радости общения между очень разными людьми, которым выпала схожая участь.

ISBN 978-5-4448-0474-2

© Бердзенишвили Л., 2017
© НЛО, 2017

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Мемориальный госпиталь Сибли | 7 |
| Аркадий | 11 |
| Гриша | 15 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 18 |

Леван Бердзенишвили

Святая мгла (Последние дни ГУЛАГа)

© Л. Бердзенишвили, 2016, © ООО «Новое литературное обозрение»,
2016

Мемориальный госпиталь Сибли

Жидкокристаллические мониторы, толстые провода, штативы, кронштейны, пульт управления, люди в белом, синем, бордовом и свет, свет, свет в сто тысяч люменов.

«В святом сиянии... Словно на космическом корабле нахожусь», – подумал я и потерял сознание. Меня стремительно несло куда-то, и я радовался. Были лишь свет и скорость. Меня несло долго, и внезапно я остановился. Ощутил тело. Ощувив тело, тут же услышал беседу женщин. Свет погас. Движение было светом. Неподвижность есть тьма. Наступила полная тьма. Совершенно полная тьма, «святая мгла». Во тьме разговаривали женщины. Обеспокоенные, беседовали очень тихо. Они что-то говорили, но я не понимал, что они говорили. Это мучило меня: почему я не могу понять, что они говорят? «В святом сиянии, – говорит Гегель, – в великой бездне святого сияния...» Я – это я, слышу женские голоса и не понимаю смысла. «...В святом сиянии, в великой бездне святого сияния... столь немного ведомо, как и в святой тьме...»

Наконец из звуков что-то да проявилось – такое, что должно было иметь смысл. Этим нечто было слово. В начале было Слово... и слово это было «иншуранс». «О, это не пустой звук, – размышлял я, – я даже знаю, что это слово означает!» Почему же я по-прежнему ничего не понимаю? Потому что это не грузинское слово. Это другой язык. Это английское слово, означает «страхование». Женщины говорят по-английски. Почему по-английски? Где я? Конечно же, я не на космическом корабле, здесь куда более земное место. Это больница, где говорят по-английски. Я здесь потому, что внезапно мне стало плохо. Сначала мне стало плохо в самолете, когда мы пролетали над океаном, меня бросило в дрожь, потом в посольстве Мексики я упал в обморок. До того успел поговорить с нашим посольством по телефону. Что мне было нужно в посольстве Мексики? Вспомнил: я в Вашингтоне. Я должен был отсюда лететь в Канкун, Мексику, оттуда куда-то еще. Под конец я был у Ирены дома, на авеню Коннектикут. Ирена Ласота – мой друг. «Тебе очень плохо, – сказала она мне и привела для подтверждения бесспорный аргумент: – Ты даже не попробовал мою утку!» Это последнее, что я помню. Я не смог съесть божественную утку, и это, несомненно, значило, что мне было очень плохо.

– Нас беспокоит то, что у него нет страховки. Вы же понимаете, что наш госпиталь не Джонс Хопкинс, но и дешевым его не назовешь.

– Я был прав, это больница, – подумал я. Голос незнакомки продолжал:

– Как он такую сумму сможет заплатить?!

– Дорогой доктор, он не простой человек, он член парламента и бывший политический заключенный, в советском ГУЛАГе сидел, в своей стране его все знают, за него тысячи людей горой встанут, не думайте, что о нем некому позаботиться! – это мой друг Ирена Ласота, ее голос и французский акцент в английской речи я распознаю среди десяти тысяч голосов.

– Как странно, во всей Америке наберется, может, сто врачей, которые слышали, что такое ГУЛАГ, и из них где-то десяток, кого этот ГУЛАГ вообще интересует, а вот вам удалось встретиться с одной из этого десятка. Моя мать была заключенной ГУЛАГа, и я сама родилась в ГУЛАГе.

– Где вы родились? Где сидела ваша мать? – разволновалась Ирена.

– В Потьме, в Дубравлаге, – ответила женщина.

– Я заплачу за все, – хотел сказать я, но не мог.

– Это не может быть случайностью, этот человек тоже сидел в Дубравлаге, в Барашеве.

– Если бы моя мать была жива...

– Мы все трое там сидели, – заключила Ирена. – Во всем Вашингтоне – три человека, сидевших в ГУЛАГе, и сейчас все вместе собрались здесь, в госпитале Сибли.

- Ненадолго, – хотелось мне вступить в диалог, но я не мог.
- Простите, как ваше имя?
- Ирена. Ирена Ласота.
- Госпожа Ласота, кем вам больной приходится?
- Он мой старый друг. Сегодня утром прилетел из Грузии.
- Постараюсь поговорить с пациентом. Хеллоу, – обратилась ко мне незнакомая женщина в белом халате.
- Здравствуйте, доктор, – постарался ответить я, но увы.
- Возможно, он и слышит, но ответить не может. Скажите мне, как его зовут?
- Леван Бердзенишвили, «Б» как «Борис», «Е» как «Елена», «Р» как «Рональд»...
- Какая сложная фамилия!
- Можете называть его «Мистер Би».
- Очень хорошо, пусть будет «мистер Би». Я его лечащий врач, меня зовут Пейдж, Пейдж ван Вирт.
- Очень приятно, миссис ван Вирт.
- Миссис Ласота, у мистера Би одновременно две серьезные проблемы: инфекция эпидермиса на левой ноге и расстройство функции почек. Инфекция зашла далеко, и в борьбе с ней придется применить очень сильные антибиотики. К сожалению, тем самым состояние почек усугубится. Хочу, чтобы вы знали: риск очень серьезен. Первые три дня он должен будет провести в отделении реанимации и интенсивной терапии. Вначале мы должны справиться с инфекцией, а потом, если все пройдет хорошо, займемся почками. Вы все поняли?
- У него инфекция, и, возможно, почки не выдержат борьбы с ней, надо быть готовыми к самому худшему, миссис Пейдж.
- Просто Пейдж, или если непременно «миссис», то «миссис ван Вирт», – печально поправила врач.
- О'кей, миссис ван Вирт.
- Я знаю, что у него дорожная страховка, которая ему здесь не пригодится, однако независимо от того, есть у него деньги или нет, сейчас мы за ним присмотрим.
- Большое спасибо.
- Вы сказали, что он бывший заключенный ГУЛАГа, это правда?
- Да.
- Тогда сколько раз я буду дежурной, столько раз потребую у него вспомнить тамошние истории. Разговор пойдет ему на пользу, а мне ночью все равно не спится. Взамен этих устных рассказов я ему хоть одно доброе дело сделаю – не стану требовать заплатить мне, и он сбережет несколько тысяч долларов. Как вы думаете, господин Би согласится?
- Как же не согласится? – воскликнула Ирена. – Лишь бы он сейчас выкарабкался! Ему только дай поговорить...
- Очень хорошо, – сказала миссис ван Вирт. – Начнем через три дня. Возможно, вы меня слышите, – обратилась ко мне врач. – Соберитесь со всеми силами и внимательно выслушайте меня: вам внутривенно ввели сильнодействующее лекарство, поэтому вы не можете разговаривать. Три дня вы будете на грани жизни и смерти. Это ваша война, и вы должны в ней победить. За вами придут и попробуют вас забрать. Не соглашайтесь. В этот момент сделайте над собой усилие и подумайте, что вам нельзя уходить, так как вы задолжали и обязаны расплатиться. Подумайте, какой там долг за вами. Если не найдете ничего другого, то вспомните, что за вами мой должок – вы должны будете рассказать мне все о Дубравлаге и Потьме – я в тех местах родилась. Сейчас мы вас покидаем, лежите спокойно и спите.

– Debt, долг, – подумал я, – вот верное слово. Никуда я не смогу уйти, пока не заплачу долг. Это верно. Да, так и есть, у меня долг, очень большой долг. У моего долга есть даже имя. Его зовут Аркадий Дудкин.

* * *

Как и у всякой книги, своя судьба есть и у моей – она родилась по ошибке.

По элегии древнегреческого реформатора и поэта Солона, жизнь человека состоит из семилетних периодов: в первые семь лет ребенок меняет зубы; во вторые – достигает зрелости; в третьи – у него растёт борода; в четвертые – он расцветает; в пятые – создает семью; в шестые – серьезно относится к делу; в седьмые и восьмые – он совершенен; в девятые – начинает слабеть, а в десятые – его смерть уже не будет преждевременной. Мне довелось пережить всего вдоволь, однако, присматриваясь к себе, я убедился в том, что самыми важными семью годами были для меня четырехлетнее ожидание ареста и трехлетнее лишение свободы. Влияние этих семи лет на мою жизнь так велико, что стоит мне познакомиться с новым человеком, будь то грузин или иностранец, как после нескольких слов я непременно принимаюсь объяснять ему, что некогда был политическим заключенным. Любая моя беседа неминуемо сворачивает к этой теме.

Внутренне я сам себе противлюсь. Не нравится мне это: уж слишком несложным получаюсь я человеком. Убеждаю себя: не пристало столько говорить о КГБ, ГУЛАГе, тюрьме и бедах, рассказывая о Древней Греции, о Гомере, Аристофане, Руставели, Бараташвили, Галактионе, футболе, Пеле, Гарринче, Рональдо, компьютере, «Виндоусе», «Макинтоше», айфоне, диете, белках, Аткинсе, углеводах, неправительственном секторе, фондах, об образовании, истории, политике, убийстве Ильи Чавчавадзе, грузинах, путешествиях, Бразилии. Говори о чем угодно, благо говорить умеешь, сдались тебе эта тюрьма, Барашево, Дубравлаг, заключение тридцатилетней давности?

Потому я никогда не писал ни о создании Республиканской партии, ни о следствии, ни об ожидании лишения свободы, ни об аресте на Ведзинской улице в Тбилиси, ни об изоляторе КГБ в ста шагах от моего дома, где просидел шесть месяцев, ни о ростовской, рязанской, потьминской тюрьмах, ни о прозванном «Столыпин» этапе и ни о Барашеве, где я провел три лучших года своей жизни. Говоря «лучшие годы», я имею в виду оба понятия: что это были лучшие годы жизни (ведь я был молод – и что может быть прекрасней этого возраста) и что лучшего периода в моей жизни у меня просто не было – никогда больше не окружали меня такие люди, которых с великим рдением собрал тогда КГБ.

О Барашеве я ничего не писал, хотя близким, конечно же, рассказывал о тамошней воде, климате, ситуации, режиме, особенностях и, что главное, о людях – о моих соратниках-заключенных и о наших неусыпных стражах.

Друзья часто говорили мне: «Ты должен непременно описать историю своего заключения!» Я и сам знал, что должен, но мне все казалось, что еще не время. И, когда в далекой стране, в Мемориальном госпитале Сибли встревоженная женщина-врач заключила, что мне недолго осталось жить и ее заключение ясно отразилось на лицах моих близких, я наконец понял, несмотря на сорокаградусную температуру, что «то самое время» настало.

Знаю, я не первый, кого чрезвычайные обстоятельства вынудили заняться писательством, в наших рядах и графоманов, и гениев было немало, однако я «взялся за перо», то есть прилачился к клавиатуре, не для того чтобы написать художественную книгу, и не для того, чтоб вернуть «утраченное время» (ах, мой любимый Пруст!), а для того чтобы спасти персонаж, готовый исчезнуть. Я бьюсь за спасение Аркадия Дудкина. Не будь меня, Аркадий пропадет, никто не узнает, что он был на этом свете, что его бытие имело смысл. Другие давно его забыли, а некоторые не забывали потому, что не помнили – не видели его никогда в

зоне. Если я не опишу Аркадия, в Гадесе он также явится мне, как Одиссей явился Тиресии, и потребует ответа. Если пропадет Аркадий, то пропаду и я и кто-то по ошибке подумает, что действительно знал меня, так как присутствовал на какой-либо моей лекции, видел мое выступление по телевидению либо читал мою статью в газете.

Я не способен писать как Флобер, однако если этот великий человек сказал: «Мадам Бовари – это я!», то я могу сказать, что Аркадий Дудкин – это я.

Чуть погодя врач признала, что ее самые худшие ожидания не оправдались и мое отправление в Гадес отложено на неопределенное время, но было уже поздно: Аркадий Дудкин как персонаж, превратившись в набранный Arial Unicode MS Opentype шрифтом текст, независимо от меня странствовал «по просторам» трех дабл ю.

Пророк Давид в сорок первом псалме говорит, что «бездна бездну призывает», и Аркадий Дудкин тоже призвал Гришу Фельдмана, Гриша – Жору Хомизури, Жора – Джони Лашкаршвили, Джони – Рафика Папаяна, Рафик – Генриха Алтуняна, Генрих – Мишу Полякова, Миша – Борю Маниловича, Боря – Вадима Янкова, Вадим – Фреда Анаденко, Фред – Юрия Бадзё, Бадзё – Алексея Разлацкого, Разлацкий – Петра Бутова, Бутов – Дайниса Лисманиса, и их всех вместе было четырнадцать, и все четырнадцать призвали моего брата Дато, и мою память так озарило, что свет превратился во тьму, тьма устоялась, и устоявшаяся мгла заговорила.

Аркадий

У него было две жизни, вернее, он находился в таком учреждении (после исчезновения Советского Союза это слово даже употребляться не должно, настолько оно советское и исповедует верховенство государственного уклада над человеком, а не наоборот), в уч-реж-де-нии ЖХ 385 / 3–5, что жизни у него не было вообще, но он об этом не знал. Он знал, что он Аркадий Дудкин, ветеран Отечественной войны, герой этой войны, человек, водрузивший вместе с Кантария над церковью (конечно же, он имел в виду увиденный в кино Рейхстаг, видимо, в его представлении разве что церковь могла иметь купол) красное знамя, а Горохова (под этой фамилией Аркадий подразумевал сознаменосца Кантария, прославленного Михаила Егорова) там даже не было. Еще Аркадий знал, что он должен выйти на волю 13 мая, только он либо перестал вести счет годам, либо для него настал один конечный-бесконечный год, в котором он должен был выйти на волю, однако злые люди, выражаясь его словами, «супостаты», не выпускали его.

Много еще всего знал Аркадий Дудкин: например, что сидевший с ним в одной камере Владимирской тюрьмы Леня Брежнев украл у него добытые на войне ценою крови и пота медали и ордена, что его «пультировали» из танка («Меня пультировали», – любил он говорить) и другое, что проявляло его линию, его наивный, непрофессионально обработанный миф, на сыском жаргоне – «легенду», которую он выбрал со дня своего ареста и которой никогда уже не изменял: воевал на войне, добыл медали и ордена, водрузил знамя, где полагось и с кем полагалось. После этого его арестовали ни за что ни про что.

Похоже, в обработке легенды ему помогал тот факт, что его старший брат, Василий Дудкин действительно сражался на Отечественной войне, действительно был героем, и если вместе с Кантария и Егоровым не водружал знамени над Рейхстагом, то в операции взятия Рейхстага участвовал на самом деле.

Да, Аркадий знал, что был героем, однако его знание не совпадало со знанием администрации зоны – и, честно говоря, всей зоны, последняя же признавала лишь один факт: во время войны Аркадий был полицаем. Когда немцы вошли в его белорусское село, Аркадию было 15 лет и он не убежал, скорее всего, не смог убежать, в лес, чтобы с первых же дней начать героически партизанить, а когда ему исполнилось 17 лет, на Аркадия, на этого бывшего не в ладах с грамотой, малость «придурковатого» парня немцы надели форму полицая, дали ему в руки «шмайсер» и велели установить в селе порядок. Чтобы опробовать оружие, он пошел в сторону леса и выпустил несколько очередей (в обвинительном заключении последнее было отражено следующим образом: «сделал выстрелы в сторону партизан»). Через два дня село заняли партизаны и полицейство Аркадия закончилось. Партизаны и не думали наказывать слабоумного мальчика. Однако примерка формы полицая (другого преступления в обвинительном заключении не было описано, так как в селе было всего пять семей, евреев там не было, не было и коммунистов – какие же репрессии должен был осуществить полицай Дудкин, да еще за 48 часов, неизвестно) Аркадию обошлась дорого: слабый и без того его разум, которым он по-детски воспринимал мир, помешался еще больше, он стал выдавать себя за брата, сочинял эпизоды войны и в каждом эпизоде находил свою роль, поэтому он одновременно прорывал и ленинградскую блокаду, и воевал в Сталинграде и на Курской дуге, ну и, конечно же, брал Берлин.

Село жалело его, помнило его двухдневное смехотворное полицейство и то, что он и муравья не стал бы обижать, не то что человека, и играло с ним в эту игру; более того, из милости содержало его как домашнего дурачка и единственную (вместе со старой церковью) сельскую достопримечательность.

Грамоте Аркадий не выучился, но кино любил и после каждого нового фильма сочинял свою маленькую историю, в которой он (а не Сталин или Жуков) являлся главной военной силой Советского Союза. Так и продолжалась жизнь, пока бдительные и всезнающие белорусские пионеры-разведчики, объединенные названием «следопыты», при полной и неуклонной поддержке комсомольского и партийного руководства не нашли его, не разоблачили и не свершили над ним правосудие (формально его задержали не пионеры, отличилась милиция, однако фамилии нескольких пионеров тем не менее оказались в обвинительном заключении Аркадия Дудкина).

С 1972 года Аркадий Дудкин отбывал наказание как предатель Родины и военный преступник.

В том, что советский КГБ из безобидного сельского дурачка сделал предателя Родины, нет ничего удивительного, однако в ответ на настоятельные требования диссидентов (по прибытии в зону мы с братом Дато тотчас присоединились к требованию, поддержанному международными организациями) ежегодно из Москвы приезжала компетентная комиссия, в которую входили асы советской психиатрии (разве стали бы вводить в подобную комиссию кого-либо поменьше академика или профессора, ведь их заключения должны были завоевать доверие мировых ученых?), и эта комиссия неуклонно (любимое словечко коммунистов) устанавливала следующее: Аркадий Дудкин психически нормален, он и при совершении преступления был вменяемым, каковым является и в настоящее время, поэтому требование о его досрочном освобождении совершенно безосновательно, наш народ будет всегда строго спрашивать с предателей Родины и с желающих выдать кровожадного полицая за безобидного мальчика.

Именно поэтому 13 мая каждого года, когда грузины зоны отмечали историческую футбольную победу тбилисского «Динамо», одержанную в 1981 году на дюссельдорфском стадионе, завоевание, благодаря героизму Дараселия и Гуцаева, Европейского кубка обладателей кубков, а литовские и латвийские католики молились за здоровье и долголетие римского папы Иоанна Павла Второго, в тот же день того же года чудом спасшегося от двух пуль «Серого волка» Мехмеда Али Аджи, вся зона ждала шести часов вечера. К этому времени заключенные собирались у так называемой «курилки» в ожидании вечного спектакля.

У спектакля был один-единственный участник, этакая барашевская вариация театра одного актера: в первом акте Аркадий, выйдя из барака с палкой в руках, направлялся к зданию администрации, подходил к окнам той самой комнаты, в которой обычно заседала психиатрическая комиссия из великих академиков, и без антракта переходил ко второму акту: неистово бил палкой по стене; а в третьем акте он по-белорусски читал какой-то неизвестный монолог, содержание которого не смогли распознать даже самые знаменитые слависты зоны, Михаил Поляков и Гелий Донской. Видимо, Аркадий на родном языке требовал освобождения.

Его не останавливали, не призывали к порядку. Он целый час бил палкой об стенку, и администрация безмолвствовала. Только после того, как, устав и выполнив свой долг, он присоединился к остальным у курилки, появлялись контролеры и проверяли степень повреждения стены. В колонии строгого режима, где за отращивание волос длиной в 2 мм был гарантирован 15-дневный «шизо» (штрафной изолятор), Аркадия за его политический акт никогда не наказывали – администрация и контролеры зоны прекрасно знали, с кем имели дело, ведь они не были великими академиками, чтоб не отличить нормального от сумасшедшего.

Как и большинство обитателей зоны, Аркадий был курильщиком, однако у него никогда не бывало своего табака или махорки, ларьком (каждый заключенный имел право раз в месяц сделать покупки на пять рублей, но при этом денежные единицы в деле не участвовали) он не пользовался, берег деньги на будущую жизнь, которая, по его разумению, должна

была начаться 13 мая какого-то года, поэтому Аркадий сложился классическим «стрелком», то есть скромным вымогателем махорки. С учетом данного факта курящая зона разбилась на две неравные части: в большинстве были те, кто ни в коем случае не поделился бы с Аркадием махоркой, а в ничтожном меньшинстве оказались те, кто под тяжестью обстоятельств иногда мог дать Аркадию покурить.

Понять можно было обе части, так как в зоне всё на счету и предоставить Аркадию махорку означало лишиться себя удовольствия, то есть добавить себе срок заключения. Я хочу сказать, что доставляемые махоркой минуты удовольствия ассоциировались с волей. По представлению заключенного (упрощенно, конечно) воля – это место, где обитают неисчислимы удовольствия. Именно поэтому в зоне никто не бросал курить, а вот обращение некурящих в курильщиков случалось.

Аркадий знал, что простым «дай закурить» ни у кого, кроме двух-трех наивных заключенных, не смог бы выудить махорку, и его «дай закурить» было непременным, однако недостаточным условием его «представления», которое он исполнял с таким мастерством, что можно было легко вообразить, каким образом немцы одели его в форму или как он всю жизнь следовал однажды выдуманной легенде: Аркадий Дудкин был прирожденным актером.

Допустим, Аркадий увидел, что в «курилке» стоит Рафаэл Папаян, – и немедля начинал «представление», постепенно приближаясь к Папаяну на расстояние, достаточное, чтобы «стрельнуть»: «Служил я как-то под командованием маршала Баграмяна...»

Тут следует сказать, что Аркадий белорусскими оборотами придавал своей речи древнеславянское, то есть мифическое, измерение, например, он не говорил: «Служил я как-то...» – а «Служив я как-то...» Тем временем Аркадий продолжал: «Вот кто был истинным командиром! Ему очень мой танк нравился. Умолял, давай, мол, поменяемся. Какой был мужик! Настоящий военный. Армяне замечательные воины, не то что турки! Дай закурить. Интересно, существуют ли потомки Баграмяна?»

Первоначально Рафаэл неохотно, но давал махорку, однако со временем поймать Папаяна на примитивный патриотизм становилось все труднее. К несчастью для Аркадия, вкус у сына известного армянского драматурга, кандидата филологических наук Рафаэла Арамашотовича Папаяна постепенно утончался, и этот гуманитарий все больше склонялся в сторону «не верю» Станиславского, иногда даже говорил: «Не верю!» – оставляя Аркадия без махорки.

Из несметных добродетелей, присущих Аркадию, наиболее интересными были его стойкий характер и неутомимость. Этому человеку была явно неведома пауза. Еще не закончив безуспешного выступления с Папаяном, он направлялся в сторону какого-нибудь грузина, стоявшего в курилке, и чуть ли не с гомеровской объективностью и беспристрастностью начинал новую историю, за которой ему и вправду не приходилось лезть в карман, историй у него было множество, и ему не нужно было повторяться. Он бубнил со своим легким белорусским акцентом: «До этого я служил у генерала Леселидзе. Вот кто был настоящим военным, отцом солдат. С Леной Брежневым тоже там познакомился, впоследствии он у меня медали и ордена украл, но сейчас не время об этом. Генерал Леселидзе был моим большим другом, говорил, мол, тебе, а не Горохову дам знамя над Берлином водрузить. Грузинскую песню любил, сакварлис саплавс... дай-ка закурить... ведзбди-и-и. Интересно, а в Баку есть улица Леселидзе?»

Несмотря на явную хромоту в географии (я никак не мог убедить его, что столица Грузии зовется Тбилиси, а не Баку), все актерские выступления Аркадия производили на меня неизгладимое впечатление, так что часть моего ежемесячного запаса махорки безоговорочно принадлежала ему.

Как-то раз в традиционном зонном споре, происходящем между театрами, о том, кто лучше исполнял роль Отелло в пятидесятые годы, когда на всех советских сценах от Архан-

гельска до Владивостока гремел народный артист СССР Акакий Хорава (конечно, это были сталинские дела) или также народный артист СССР Ваграм Папазян (между прочим, Яго в исполнении Акакия Васадзе единогласно признавали все), я пошутил: мол, сколько бы вы ни спорили, самым великим актером я лично считаю Аркадия. Именно тогда наш товарищ по зоне, психолог Борис Манилович, переделал фамилию Аркадия на еврейский лад, чтоб она звучала как фамилия признанного деятеля искусств: «Дудкин» (в антисоветской публике весьма высоким авторитетом пользовался друг Иосифа Бродского, литератор Ефим Григорьевич Эткинд).

Фактически Аркадий был поэтом. При этом, в отличие от других поэтов, благодарным поэтом. Добыв с помощью артистического мастерства махорки, свернув ее в оторванный от «Известий» клочок бумаги и закурив, он в благодарность тут же начинал рассказывать забавную историю.

– Однажды сидел я в танке. Я же танкистом был! Так вот, сижу, значит, я в танке и вижу, немцы тремя «тиграми» идут. Происходит это на подступах к Берлину, рядом со мной шел танк грузинского лейтенанта Махарашвили, ну, знаешь, сын старика. Идут немцы тремя «тиграми» и кричат: «Аркадий, хендехох!» По-немецки кричат. Немцы на трех танках. У меня был Т-34, а у них – «тигры», я был львом, а они тиграми. Сын старика, бедный Махарашвили, волком был. Они кричат мне «хендехох», то есть руки вверх, и я крикнул им: «Их бин Аркадий, их нихт хендехох, их бин убивен зи, швайн фрицен, явол!» я вас всех перестреляю, значит, немецкие свиньи. Выстрелил немецкий танк, угодил мне в левый бок и крикнул: «Я, я!» Я выстрелил и убил одного «тигра». Второго «тигра» Махарашвили убил, сын усатого старика. Двинулся третий «тигр». Не могу его остановить, идет и идет. Убил Махарашвили. Идет и вот-вот собьет меня. Стреляю и стреляю, но он не умирает! Оказывается, в танке сам Гитлер сидит. Я понял, что мне уже не спастись и крикнул: «За Родину, за Сталина!» Выпустил я из танка крылья и полетел, очень высоко взлетел, выше солнца поднялся!

Аркадий Дудкин должен был освободиться 13 мая 1987 года. 12 мая он скончался. В соответствии с местной традицией администрация зоны разула его и предала безымянной могиле, так что на встречу со своим братом-героем, чью роль Аркадий с успехом исполнял всю жизнь, он пошел босым.

Гриша

Гриша Фельдман был самым жизнерадостным и бодрым человеком из тех ста пятидесяти заключенных нашей зоны, с которыми мне довелось «сидеть». Он был арестован за антисоветскую агитацию и пропаганду в 1982 году и приговорен к шести годам заключения. Он был евреем, имел среднее образование, работал электриком в железнодорожной больнице в городе Конотопе Сумской области Украины. Он ничего особенного не совершил, просто был евреем, и в войне с арабами болел за Израиль, и только об этом и говорил – и до ареста, и после.

Если, бывало, спросишь его: «Как поживаешь?» – он бодро отвечал: «Автоматы имеются, пули принесут, и арабам будет да-да-да-да-да!» Виртуальный автомат держали явно опытные руки, и направление арабов тоже было идейно верно подобрано: Гриша целился в агитационную часть административного корпуса, полную мудрых надписей, среди которых были и такие: «Хлеб – всему голова!» (какое отношение имела эта мудрость к государственным преступникам, так и не удалось установить) и «Лучше думать до, чем после! Демокрит». Как специалист по античной литературе я с полной ответственностью заявляю, что никогда нигде Демокрит ничего подобного не говорил, хотя у администрации зоны и, в частности, у отца идеологии полковника Ганиченко были на этот счет свои соображения: ему нравилось имя Демокрит: во-первых, потому, что это было дозволенное и материалистическое имя, в отличие, например, от плохого и темного Гераклита, а во-вторых, оно легко ассоциировалось с демократами, а это было наше насмешливое прозвище в зоне – нас, осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду, представители администрации, издеваясь, называли именно «демократами». Авторитетный заключенный психолог Борис Манилович толковал высказывание Демокрита следующим образом: Демокрит учит, что если уж собираешься сотрудничать с советской безопасностью, то лучше совершить этот акт до твоего ареста, чем после.

Вечером, во время построения на плацу и переключки, Гриша всегда смотрел вверх. Обычно, как только заключенные собирались, на крышу барака слетались голуби и начинали ворковать – и Гриша смотрел на них теплым и влажным взглядом. Он был всеядным обжорой. Поэтому, когда прошел слух, что Гриша убил и съел голубя, это никого не удивило. Интересны были лишь технические детали – как он подкрался, чем убил, как обработал и, в конце концов, когда зажарил или сварил голубя, вообще – зажарил или сварил или сначала сварил, а потом зажарил? – которые так и остались невыясненными. Одна часть зоны случившееся осмыслила как очередное проявление естественного инстинкта самосохранения, спасения жизни, а вторая, более интеллектуальная часть, как один из новых признаков духовного падения человека. Главное, ни одна часть не сочла, что за содеянное Гришу следовало наказать. Так все полагали до того, как прославленный украинский социалист Фридрих (Фред) Анаденко, автор известной антисоветской книги «От Ленина до Брежнева», не вызвал на вечернюю беседу нас – надежный, по его представлению, состав так называемых «посвященных» – и во время групповой прогулки взад-вперед по двору зоны с выражением и с надлежащими ударами не прочел своего письма, которое он написал генеральному прокурору Советского Союза:

«Генеральному прокурору СССР
Реункову Александру Михайловичу
Товарищ Генеральный прокурор Союза Советских Социалистических
Республик Александр Михайлович!

Доводим до Вашего сведения, что заключенный Григорий Зиновьевич Фельдман в учреждении ЖХ 385 / 3–5 незаконно похитил и съел голубя либо голубей (количество жертв не установлено). Это недопустимо, так как общеизвестно, что голубь – символ мира. Исходя из вышесказанного, прошу Вас незамедлительно принять соответствующие меры.

Без уважения,
несправедливо приговоренный
политический заключенный
Фридрих Филиппович Анаденко»

Прогулочное обсуждение открыл Поляков, который, хотя и одобрил смелое «без уважения», затем с нескрываемой иронией заявил, что, возможно, генеральный прокурор Рекунков не согласен с тем, что голубь – символ мира, поскольку это берет начало в Библии, а у товарища Рекункова, истинного марксиста, коммуниста и социалиста (на этом слове Поляков сделал особый акцент, так как приверженность Анаденко к социализму ему, как истинному либералу и демократу, была не по душе), должны быть конфликтные отношения с Библией. Математик-тополог, полиглот и вообще умник Вадим Янков заявил, что люди только и делают, что едят символы, ведь корова, свинья, овца, птицы и рыбы в разных культурах несут разную символическую нагрузку – и тут Янков вздумал было проявить свои безбрежные знания, но в это время Анаденко, рассердившись на нас, наклеил дрожащей рукой марку на конверт и демонстративно опустил письмо в висевший на стене административного корпуса почтовый ящик. Моим последним комментарием было, что нам не следовало оставлять без внимания бескорыстный поступок Анаденко, так как он на общественное дело пожертвовал целую марку. Конверт и марка в политической зоне являлись предметами чрезвычайно дефицитными, поэтому мой скромный комментарий опытные заключенные восприняли положительно.

Мы не знаем, дошло ли письмо Анаденко до адресата, но съедение символа мира запросто сошло с рук Грише Фельдману. Его гастрокулинарная эпопея на том не завершилась. Фельдман был профессиональным электриком и без конца чинил электропечку, которую устанавливал в конце умывальни с восемью кранами, прозванной «курилкой», и которой пользовалась вся зона, пока ее руководству не взбрело в голову надолго убрать это изобретение современного Прометея, заботившегося о сокамерниках.

Как-то раз, когда в преддверии Нового года существующие в зоне отдельные кулинарно-гастрономические группировки (неформальные группы заключенных, ведущих общее гастрономическое хозяйство, среди них еврейские кибуцы, Христофед – Христианская федерация народов Южного Кавказа, Литовско-латвийская «Уния» и украинское «Сходство») производили инвентаризацию собственных пищевых ресурсов, сырой и готовой продукции, у одного из членов Христофед, Рафаэла Папаяна, оказалась привезенная его женой на последнюю встречу (полтора года тому назад) целая двухлитровая банка овечьей каурмы (ragu). Каурма, дожидаясь своей очереди, чин чином хранилась на общем складе, в так называемой «каптерке». Наступил конец и этому бесконечному ожиданию, и пришло время каурмы. Члены федерации: Бердзенишвили, Лашкарашвили, Хомизури, Алтунян и Папаян – в ожидании гастрономического чуда присутствовали на церемонии открытия каурмы. У двухлитровой банки была крышка с резьбой, и как только Папаян с третьей попытки смог повернуть ее, банка начала нехорошо бурчать, и вскоре барак наполнился таким запахом, что ветеран Отечественной войны, немецкий полицай и бывший Герой социалистического труда СССР Верховин крикнул: «Внимание! Иприт! Газовая атака! Все на выход!» – и весь барак высыпал во двор.

Последним из барака вышел Гриша с банкой каурмы в руках и спросил нас, кавказцев: «Что вы собираетесь делать с этим, выбросить, что ли?» – и, получив утвердительный ответ,

с банкой в руках направился в «курилку», то есть к своей электрической печке. За этим последовал поспешный вылет из «курилки» нескольких заключенных. Гриша заявил, что его печка обеспечивает четыреста градусов и убивает все бактерии – не то что овечью каурму. Он целый час кипятил смрадную каурму, затем вынес кастрюлю, сел за стол посреди двора и на глазах у всей зоны методично и преспокойно умял ее всю. Никто в радиусе тридцати метров, даже администрация зоны, не решился приблизиться к каурме с отравляющим запахом. Я почти уверен, что в связи с эпизодом с каурмой Фред Анаденко с очередным письмом и без уважения обратился к генеральному прокурору, однако ознакомиться с этой новой жалобой он нам уже не предлагал.

Вскоре после эпизода с каурмой Гришу забрали из зоны. Как мы узнали, его увезли в столицу Мордовии, Саранск, и посадили в тамошний изолятор. Долгое время мы не имели никакой информации о Грише, он никому не писал, да и извне не поступало никаких вестей о нем. Прошли четыре месяца, и в один прекрасный день Гриша вернулся с отросшими волосами, чуть пополневший и бледный. Для нас простым делом было по цвету лица установить, сколько времени сидел человек в камере изолятора. Цвет Фельдмана подсказывал, что целых четыре месяца Гриша провел в изоляторе и никакого другого контакта с солнцем, кроме часовой прогулки, он не имел. Некогда самый веселый и шумный обитатель зоны как-то угас, уже не говорил об арабах и автоматах и, представьте себе, отказался даже от кулинарных эксцессов, более того, даже не думал наладить свою знаменитую электропечку.

Кое-кто предлагал сделать соответствующие заключения, однако убедительной информации ни у кого не было.

Надо сказать, что грузины – хорошие арестанты. Тем самым я хочу сказать, что грузины, находясь в заключении, не плачутся и, что главное, являют образцы примерной физической выносливости. Несмотря на подобную высокую репутацию, осенью 1986 года в зону проник вирус гриппа, который вместе с остальными свалил и меня. Несколько дней я с высокой температурой лежал в бараке, и врач сказал, что если еще два дня жар не спадет, то он переведет меня в «больничку» и назначит диету (диета в зоне очень хорошее слово). Короче, лежу с температурой в сорок градусов у входа в барак, девять часов вечера, кроме Гриши и двоих пожилых литовцев в бараке почти никого нет, и тут, смотрю, вбегает Жора Хомизури с сенсационным заявлением, что по программе «Время» будет выступать наш Гриша. Встав вместе с одеялом и матрасом, я направился в клуб-столовую. Телевизор был установлен очень высоко – с тем чтобы его могли видеть все сто человек, сидевших за длинными столами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.